



АРТЁМ МОНИН

Мир до перемен
одна короткая история
РОМАН

Артём Монин

**Мир ДО перемен: одна
короткая история**

«Автор»

2026

Монин А.

Мир ДО перемен: одна короткая история / А. Монин — «Автор»,
2026

Данная книга — приквел к роману «Вольт», впервые опубликованный в составе расширенного издания «Вольт. Расширенная версия» (2026). Выпускается отдельно для удобства читателей. Далеко-далеко, в галактике Сфера 821, существовала планета Эмилд — мир, не знавший войн и зла. Её народ, эмильцы, жил в согласии. Но однажды в этот мир пришёл чужак по имени Тейвал. Он предложил эмильцам выбор: подчиниться или быть уничтоженными. Ему не поверили — и зря. Через месяц началась битва, решившая судьбу планеты. Когда стены города пали, последний хранитель древнего Артефакта — старик Верос — ценой собственной жизни отправил реликвию в космос. Спустя долгие годы Артефакт вошёл в атмосферу далёкой голубой планеты Земля, где его ждал тот, кому суждено было нести его силу. Приквел рассказывает о том, откуда взялся Артефакт, подаривший Вольту его способности, и завершает картину мира, скрытую за страницами основной книги.

© Монин А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Содержание	6
Пролог. Пепел	7
Глава 1. Золотая колыбель	10
Глава 2. Двенадцать родов	13
Глава 3. Гость	16
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Артём Мони́н

Мир ДО перемен: одна короткая история

МИР ДО ПЕРЕМЕН

одна короткая история
Приквел к роману «Вольт»

Автор: Артём Мони́н
Новосибирск
2026

Откуда этот приквел

Данная книга — «Мир ДО перемен: одна короткая история» — является приквелом к фантастическому роману «Вольт» и впервые была опубликована в составе специального расширенного издания в виде бесплатной электронной книги.

Расширенное издание «Вольт. Расширенная версия» вышло в 2026 году. Оно включает в себя не только основной роман, но и вставные рассказы, раскрывающие мир вокруг главного героя, а также масштабный приквел, частью которого и является эта книга. Все тексты выложены бесплатно в электронном виде.

Приквел рассказывает о событиях, произошедших задолго до начала основной истории, — о том, как Артефакт, подаривший Вольту его невероятные способности, оказался на Земле. Действие разворачивается в галактике Сфера 821, на планете Эмилд, среди прекрасного и мирного народа эмильцев.

Создавая этот приквел, автор — Артём Мони́н из Новосибирска — хотел ответить на вопросы, которые неизбежно возникают у читателя основной книги: откуда взялся Артефакт? Почему он оказался в засекреченной лаборатории ИНТЕХГЕН? И что связывает далёкую, погибшую цивилизацию с судьбой мальчика, которому суждено было стать героем?

Рекомендуется к прочтению всем, кто хочет узнать больше о вселенной Вольта и увидеть полную картину мира, скрытую за страницами основного романа.

Зачем приквел выпускается отдельно

Основное издание «Расширенная версия» включает в себя огромный объём текста: сам роман, дополнительные рассказы и этот приквел. Чтобы читателю было удобнее, история-предыстория вынесена в отдельную книгу.

Отдельное издание позволяет каждому выбрать свой путь знакомства с миром: можно сначала прочитать наполненное событиями приключение и лишь затем вернуться к истокам, а можно начать именно с этой книги — с того самого начала, с момента, где всё только зарождалось.

Кроме того, отдельная книга удобна в поездках, её удобнее дарить тем, кто ещё не знаком с миром и хочет начать с предыстории, не читая сразу полное собрание. Приквел прекрасно читается и сам по себе — как самостоятельная короткая история.

Именно поэтому «Мир ДО перемен» выпускается не только внутри расширенного издания, но и как отдельное произведение — для тех, кто хочет получить законченную историю в удобном формате.

Содержание

Пролог. Пепел
Глава 1. Золотая колыбель
Глава 2. Двенадцать родов
Глава 3. Гость
Глава 4. Молния в ночи
Глава 5. Совет старейшин
Глава 6. Волк и его стая
Глава 7. Урок забытого ремесла
Глава 8. Первый рассвет
Глава 9. Осада
Глава 10. Последний штурм
Глава 11. Хранитель
Глава 12. Пламя портала
Глава 13. Пепел и легенда
Эпилог. Звезда упала на Землю

Пролог. Пепел

Корабль вошёл в систему Сферы 821 на четвёртые сутки пути от последнего мёртвого маяка, и теперь он висел над планетой, название которой Тейвал произносил про себя уже шесть лет, как клятву или как проклятие, — над Эмилдом, золотой колыбелью, о которой шептались на дне галактики. Он стоял один в тускло освещённом командном отсеке — огромный, тощий, скособоченный, будто сложенный из обломков, — и смотрел на золотистый шар, плывущий внизу. Никто не стоял рядом с ним, потому что его корабль, «Пепел», был построен для одного хозяина и хозяин не терпел лишних голосов на мостике; экипаж ему заменяли тишина, пыль и собственные руки, и он был благодарен им за это. Пальцы его, длинные и сухие, покрытые сетью мелких белых шрамов, лежали на холодной панели управления, и под ними медленно пульсировал тёплый свет планеты, отражаясь в зрачках, — свет, которого он не видел ни на одном из мёртвых миров, где прошла его жизнь. Шесть лет. Шесть лет он прыгал от системы к системе, от порта к порту, от слуха к слуху, гнил в трюмах, воевал за чужие деньги, молчал в чужих каютах и собирал по крупицам всё, что говорили о Сердце Созидания, — а теперь мир лежал под ним, золотой, безмятежный, спокойный, как сон ребёнка. В динамиках что-то тихо шипело: атмосфера планеты пела на одной ноте, ровной и ласковой, словно сама природа этого мира не умела звучать тревожно. Тейвал слушал это шипение без улыбки. Спокойные миры он знал. Спокойные миры были самыми глупыми — и самыми сладкими.

Он был некрасив в том смысле, в каком некрасива старая рана, и красив в том смысле, в каком красиво лезвие, — и эта двойная природа читалась в нём с первого взгляда, стоило только разглядеть его лицо. Рост — почти два метра, худоба человека, который много лет ел мало и нерегулярно, кожа — серая, как пепел его родной планеты, обтянувшая длинные кости скул и тяжёлую челюсть, которую, казалось, не смягчила ни одна улыбка за всю его жизнь. Левая половина лица была пересечена тремя глубокими шрамами, расходившимися от брови к скуле, будто кто-то раз и навсегда провёл по нему когтями, — он не помнил, кто это сделал, потому что их оставила не одна рана, а многие, наслоившиеся друг на друга за годы драчных боёв; правый глаз, мутно-голубой, почти белый, плохо видел, зато левый, тёмный, как дно колодца, видел слишком хорошо — слишком много, слишком далеко и слишком поздно прощав. Он носил чёрную броню старой военной выделки, снятую с мёртвого офицера на мёртвой планете, — кожу и металл, которые приняли форму его тела за годы, и на груди этой брони, поверх сердца, был выжжен знак: молния. Эту молнию он впервые вырезал на собственной груди ножом, когда ему было девятнадцать, в ночь, когда его мир умер, — чтобы не забыть, кем он стал и что он должен, — а потом вырезал её на груди каждого, кого отправлял следом за собой, и каждый из этих знаков был для него не отметкой, а подписью. За плечами его не было ни флага, ни родины, ни имени, которым можно было бы назваться перед чужими; было только это клеймо, уродливое и точное, как подпись, да урна с пеплом, стоявшая на штурманском столике. Он считал себя не злым и не добрым — он считал себя делом, который осталось довершить, и такие, как он, не имеют права на чувства, кроме одного: терпения.

Родную планету Тейвала звали Заран, и от неё не осталось ничего, кроме оплавленного камня, этой урны да воспоминаний, которые он не продавал даже за горючее. Когда-то Заран был торговым и мастеровым миром — умелые руки, долгие песни, города у тёплых морей, раскинувшиеся по берегам, как белые лепестки, верфи, где строили корабли для половины Окраины, рынки, где ходила звонкая монета тридцати народов. Потом пришла война — не его война, чужая, чужих империй, споривших за чужие пути, — и Заран оказался у них на дороге, как камень, о который спотыкаются и который затем отпихивают с дороги. Он помнил ту ночь до сих пор — во сне и без сна, просыпаясь от неё с криком, а потом молча: небо, зали-

тое огнём, дождь из пепла, материя, плавающая на стенах, голоса, которые звали и умолкали, один за другим, как гаснут свечи. Ему было девятнадцать, он был сыном корабельного мастера, младшим, домашним, любимым, и в ту ночь он держал в руках обгоревший медальон сестры — единственное, что нашёл на месте, где был их дом, — и клялся себе, что запомнит всё до последнего звука. С тех пор он носил с собой урну с пеплом Заран, и каждый раз, когда кто-то спрашивал, что там, он отвечал одинаково: «Дом». И говорил себе одно и то же, как молитву безбожника: мир, который не умеет защищаться, заслуживает того, что с ним случается. Это было жестокое лекарство, но оно помогало ему дышать по утрам. А потом, на базарах мёртвых портов и в пыльных библиотеках умирающих станций, он услышал о Сердце Созидания — древнем даре, который спит под дворцом хранителя на золотой планете и о котором говорили, что он способен вернуть то, что ушло навсегда. Тейвал не верил в возвращения. Но сила, которая может возвращать, — такую силу стоило забрать себе, чтобы ни один мир больше не умер так, как умер его.

Он помнил, как были потрачены эти шесть лет, — помнил до дня, до часа, до искры в топливном лотке. Год на платной войне у границ Пыльной Окраины, где он рубился в первых рядах за мешок зерна и бочку горючего, потому что карты и топливо стоили дороже крови, и где он впервые за годы почувствовал, что его ремесло — не позор, а товар; два года в развалинах Старого Ковчега, гигантской мёртвой станции, где он выменял себе броню, науку молчания и несколько слов на языке, на котором никто уже не говорил; полгода в караване паломников, шедших к погасшему солнцу, где он выкрал из святилища древний свиток, в котором впервые упоминалась «золотая колыбель, светящаяся в ночи». Меркантильные капитаны, пьяные историки, слепые старики-звездочёты, торговки слухами с далёких станций — каждый дал ему по нитке, и из ниток он сплёл дорогу, которая привела его сюда, в эту орбиту, к этому золотому шару с двумя лунами, мерцающими впереди него, как два чужих глаза. Он думал о том, что увидит внизу: о дворце, о хранителе, о покоях под полом, о двери, которой не открывали тысячу лет, о том, что спит за ней и ждёт ли оно его. Никаких сомнений в нём не было — сомнения были роскошью живых, а он уже шесть лет как не принадлежал к их числу, по собственному, самому суровому приговору. Он был тем, кто приходит, когда мир забыл, что к нему может кто-то прийти. Он был той ценой, которую платят за долгий покой, — и Эмилд, золотой, счастливый, восемь тысяч лет не знавший цены, ещё не догадывался, что счёт уже выставлен.

Тейвал медленно обвёл взглядом команду — точнее, её отсутствие. В креслах второго пилота и навигатора лежали пепел и пыль, и пыль эту некому было стереть; давно никто не садился туда, а он и не звал, потому что помощники — это глаза, которые могли подсмотреть слабость, и руки, которые могли потянуться к урне. Всё, что ему было нужно, он умел делать сам: управлять кораблём, резать металл, убивать, ждать, молчать — и делать это одновременно, не сбивая дыхания. Он включил сканер и долго смотрел на сухие зелёные цифры, бегущие по экрану, складывая их в картину, которую рисовал в голове все шесть лет. Плотность населения — высокая, жизнь бьёт ключом на всех континентах. Городов — много, самый крупный — Эмилон, на берегу широкой реки Уль, в устье которой, по всем легендам, стоял дворец хранителя и спало Сердце. Вооружённые силы — ноль. Военные объекты — ноль. Космическая оборона — ноль. Оружие, которое хоть как-то угрожало бы кораблю, — ноль. Планета была беззащитна так, как бывают беззащитны только очень счастливые и очень старые миры, и это было почти поэтично: восемь тысяч лет мира оставили эту планету голой, сладкой и готовой, как плод, созревший для того, кто первым дотянется. «Волк не виноват, что овцы не умеют прятаться, — сказал себе Тейвал, и слова эти прозвучали в пустом отсеке отчётливо, как по писаному. — Волк просто делает то, что должен». Он ещё раз посмотрел на цифры — ноль, ноль, ноль, — и что-то похожее на уважение шевельнулось в нём к народу, сумевшему прожить восемь тысяч лет, ни разу не подняв оружия. Уважение это было коротким и холодным, как

лезвие, и ровно таким же острым: он знал цену такой беззащитности лучше, чем кто-либо, потому что сам был её произведением.

Он нажал кнопку, и направленные вниз двигатели мягко загудели, начиная долгое торможение, и вибрация эта, ровная и тёплая, отозвалась во всём его костяке, как отзывается песня в струне. Золотой шар пошёл навстречу — ближе, шире, огромнее, — пока не заполнил собой весь обзорный экран, и теперь были видны подробности, которых не разглядеть с орбиты: светлые континенты, испещрённые зелёными прожилками рек, бирюзовые моря, белые гребни гор на севере, а на востоке, там, где река Уль встречалась с морем, — белая россыпь города, похожая на рассыпанные жемчужины. Где-то там, внизу, спали люди, которые никогда не видели, как умирают миры, — которым суждено было либо отдать ему Сердце, либо научиться тому, чему не учатся добровольно. Он не желал им зла в том смысле, в каком желают зла из ненависти: он вообще не желал им ничего, кроме их драгоценного камня, — а это, по его меркам, было почти бережно. Корабль вошёл в верхние слои атмосферы, и золотистая дымка за окном стала гуще, плотнее, словно сам воздух планеты обнимал чужой корабль, не умея отличить охотника от гостя. Тейвал протянул руку и коснулся холодного бока урны с пеплом Заран, стоявшей на штурманском столике, — привычка, выработанная годами, жест, без которого он не садился на посадку ни в одном мире. «Я иду, — сказал он шёпотом, обращаясь к тому, чего больше не было. — Я иду за силой, которая вернёт вас. А если она не вернёт — она заплатит за вас. За каждый день, за каждый звук, за каждый голос, который замолчал в ту ночь». За окном, в золотистой дымке, уже проступали очертания континентов — мягкие, зелёные, живые, — и теплое дыхание планеты касалось стекла. Тейвал поправил на груди молнию, выжженную в броне, и улыбнулся — впервые за много дней. Это была не добрая улыбка. Это была улыбка человека, который наконец-то нашёл дверь, за которой лежало всё.

Глава 1. Золотая колыбель

Планета Эмилд была непохожа на все миры, которые Тейвал видел за годы скитаний, — и непохожа она была в самую главную, в самую удивительную свою сторону: она была похожа на миры, которых он не видел нигде, потому что таких миров просто не существовало на его картах. Небо здесь было золотым. Не жёлтым, как на выжженных пустошах Пыльной Окраины, где солнце пекло так, что плавились камни, и не розовым, как на станциях-теплицах, где воздух был настоян на чужих цветах, — именно золотым, тёплым, с молочным отливом у горизонта, словно каждый рассвет здесь длился весь день и никак не мог закончиться. Это случалось из-за особой взвеси в верхних слоях атмосферы — мельчайших крупинок света, поднимавшихся с поверхности планеты, подхваченных восходящими потоками тёплого воздуха, — и эмильцы, разумеется, знали об этом, изучали это, измеряли это своими приборами из речной травы и стекла, но предпочитали говорить, что само солнце любит их мир и потому не уходит с неба. Климат был мягок до невозможности: тёплые южные ветры, приносившие запах цветущих садов с другой стороны Великой Морской Шири, ласковые дожди, которые шли по расписанию, выученному за тысячелетия, — никто не открывал зонтов, потому что дождь здесь был тёплым, как парное молоко, и пах травами. Зимы почти не случалось: вместо неё была «тихая пора», когда вода в реках становилась прозрачной и холодной, а листва — багровой, и длилась она ровно столько, сколько нужно было земле, чтобы отдохнуть и снова зацвести. Моря здесь были бирюзовые, глубокая вода светилась изнутри, как стекло на солнце, и на всей планете, от полюсов до экватора, не было ни одной пустоши, ни одного мёртвого края: всё цвело, зеленело, колосилось и пело.

Ночью небо Эмилд сторожили две луны — небесные сёстры, как называли их эмильцы, — и от их совместной игры зависела вся ночная жизнь планеты, все её сны и приливы. Льюна, старшая, была огромной и серебряной, как чеканное блюдо, выкованное древним мастером; она поднималась с востока неторопливо и величаво, заливала мир ровным холодным светом, в котором белоснежные скалы казались вылитыми из жидкого металла, а реки — дорогами из расплавленного серебра, и все, кто умел читать по воде, говорили, что Льюна правит приливами и снами, что под её светом сны становятся глубокими, а вода в колодцах — сладкой. Дари, младшая, была маленькой и фиолетовой, стремительной, будто рождённой для спешки; она взлетала с запада, сверкая, как искра упавшая с кузнечного молота, и за час пересекала полнеба, оставляя за собой багровый след, который долго таял у горизонта, как дым над костром, — и под её светом, говорили старики, рождались самые смелые и самые короткие мечты, те, что сбываются стремительно, как падающая звезда. Но самое удивительное случалось раз в десять дней, когда обе луны сходились в зените и замирали там на целую ночь: небо медленно наливалось фиалковым цветом, звёзды бледнели и гасли, как лампы, которым больше не нужно гореть, и вся планета — моря, поля, крыши домов, лица людей — окрашивалась в мягкий лиловый свет, который эмильцы называли «мгновением Дари». В такие ночи никто не спал: гуляли по берегам, зажигали на воде плавучие фонарики, пели песни, придуманные специально для этого света, рассказывали детям истории так, чтобы те навсегда, на все свои пятьсот лет, запомнили цвет этого неба и запах этой ночи. И дети запоминали. Потому что в этом мире вообще всё было устроено так, чтобы запоминалось навсегда.

Восьмым чудом этого мира, как сказал бы любой путешественник, имевший счастье попасть на Эмилд и вернуться живым, был Золотой мост. Он перекинулся через широкое устье реки Уль там, где река встречалась с Великой Морской Ширью, и тянулся на четыреста километров — от северного берега до южного, — соединяя Эмилон со всей остальной страной, с дальними островами, с лесами, где добывали лунное дерево, и с горами, где ломали белый

камень. Его строили три тысячи лет: тридцать поколений мастеров из клана Мостостроителей клали камень на камень, выверяя каждый блок по гнёздам звёзд и по течению воды, по дну, по ветрам, пока не подняли над водой четыреста километров золотистого камня с ажурными арками, под которыми свободно проходили целые флотилии, с башенками на каждой десятой опоре, где в дождь прятались путники, и с решётчатыми перилами, в узор которых были вплетены имена всех мастеров, строивших мост, — именами этими, говорили, можно было прочитывать всю историю страны. По мосту шли караваны, ехали повозки, бежали дети, влюблённые сидели на его парапетах до глубокой ночи, а в сумерках золотой камень, впитывавший дневной свет, начинал источать собственное тёплое сияние, и тогда мост превращался в длинную реку света, лежащую над тёмной водой, — зрелище, от которого у приезжих, по преданию, перехватывало дыхание и навсегда замирало сердце. Говорили, что ни один человек, прошедший по Золотому мосту, никогда не смог забыть этого ощущения — будто идёшь по дороге, проложенной между небом и водой самими богами, — и Тейвал, смотревший на него с борта своего корабля, вдруг поймал себя на том, что даже ему, человеку, давно разучившемуся удивляться, на мгновение стало трудно дышать. Он подавил это чувство, как подавлял все чувства, — одним движением, как гасят свечу, — но отметил про себя: у народа, способного построить такую красоту, должно быть много того, что можно забрать.

В самом сердце этой страны, там, где Уль делала плавную излучину, словно река сама обнимала город, стоял Эмилон — город, который Тейвал впервые увидел с орбиты и который, как он сразу понял, не был похож ни на один город его памяти, ни на один город, который он сжигал или грабил. Дома здесь строили из белого камня, добытого в северных горах, — камня, который днём слепил глаза, отражая золотое небо, а ночью светился ровным матовым светом, будто в каждом кирпиче спала маленькая луна, и оттого город по ночам казался не постройкой, а скоплением света, сошедшего на землю. Город лежал в три кольца, и каждое кольцо имело своё лицо: внутреннее — дворец хранителя и старейшие храмы, окружённые садами, где цвели деревья, посаженные четыре тысячи лет назад; среднее — дома ремесленников, учёных и мастеров двенадцати родов, выстроенные каждый по-своему, с башенками, балконами и резными ставнями, расписанными цветами рода; внешнее — сады, рынки и причалы, где пахло рыбой, фруктами и смолой. Улицы были широкими и тёплыми от солнца, вдоль них бежали каналы с живой водой, отражавшие золотое небо, и по этим каналам скользили лёгкие лодки, вёсла которых были расписаны цветами каждого из двенадцати кланов, а лодочники пели, потому что петь здесь было так же естественно, как дышать. Пахло Эмилон травами, печёным хлебом, мокрым речным камнем, цветущими садами и — Тейвал не сразу понял, что это за запах, — чем-то очень древним и очень спокойным, чего он не встречал ни в одном населённом мире: запахом уверенности, что завтра будет так же, как сегодня, а послезавтра — так же, как завтра. И надо всем этим — над крышами, над рекой, над сотнями тысяч судеб — неторопливо плыло ощущение, что здесь никогда не спешили, не боялись и не ждали беды, потому что беда просто не знала дороги сюда.

Самой странной подробностью Эмилона — по крайней мере, для человека вроде Тейвала, привыкшего, что в каждом порту сначала спрашивают, кто ты, а потом — есть ли у тебя оружие, — были двери. Двери здесь не запирались. Вообще. Никогда. В тридцати тысячах домов города не было ни одного замка, ни одного засова, ни одного висячего железа, ни одной щеколды; двери просто закрывались — иногда на лёгкую защёлку, иногда вовсе нараспашку, — и это было нормой настолько, что дети, вырастая, узнавали о существовании запоров только из древних песен, да и там это звучало как диковинка дальних стран. На рынках продавцы оставляли перед собой корзины с плодами и горкой голышей-«обменных камней»: каждый брал, сколько нужно, и клал взамен столько цветных камешков, сколько просила табличка, а если камешков не хватало — никто не бежал вдогонку, потому что каждый знал: человек вернёт долг, когда сможет, и вернёт с процентами, потому что так принято. Иноземцы, приезжавшие

торговать, поначалу не верили своим глазам и спрашивали, где же сторожа, где стража, где запоры от воров, — и эмильцы удивлённо поднимали брови: «Воры? А зачем кому-то красть, если всё и так общее?» Тейвал, смотревший на это с холодным изумлением профессионала, который всю жизнь изучал человеческие слабости и вдруг увидел мир, где слабостей не было, записал в своём бортовом журнале одну строчку: «Мир без запирания. У них даже нет слова, которым можно назвать вора. Эту дверь не нужно ломать — нужно только знать, что за ней». Он не знал ещё, что эта строчка станет для него самым важным разведданным за весь поход, — и что мир, забывший, как запираются двери, откроет ему не только их, но и своё сердце, а сердце, как он знал слишком хорошо, — самая уязвимая дверь из всех.

В центре Эмилон, на острове, образованном двумя рукавами Уль, стоял дворец хранителя — не крепость, а дивное белое здание с куполами, похожими на сложенные ладони, и колоннадами, увитыми цветущими лозами, с широкими террасами, спускавшимися к самой воде. Дворец был старше любого дома в городе и старше, пожалуй, самой памяти эмильцев о городе: по преданиям, его воздвигли в те времена, когда Сердце Созидания ещё не было спрятано, и строители заложили в его фундамент не гвозди и не камни, а песню — чтобы стены всегда помнили, зачем они стоят, и чтобы ни одно зло не могло коснуться того, что лежит под ними. Под дворцом, глубоко под землёй, под слоями древних полов и ходов, о которых не рассказывали детям, находилась тайная кладовая — и хотя никто из живых эмильцев не видел её, каждый знал, что там, в темноте, под семью замками, которых нет и не было, покоится Сердце Созидания, бережно укрытое от мира, который когда-то чуть не сгорел из-за него дотла. Вход в кладовую сторожил хранитель — Верос, седой человек с глазами цвета старого мёда, не имевший ни меча, ни охраны, ни даже запирающейся двери: единственным его оружием было то, что за восемь тысяч лет никто и никогда не захотел войти, и это оружие казалось ему сильнее любого клинка. Тейвал смотрел на белый дворец в свой первый вечер над Эмилоном — с орбиты, через увеличивающую оптику, — и считал шаги, которые ему предстояло сделать: от ворот, через площадь, через сад, через колоннаду, вниз, под купола, под землю, к двери, за которой спало его будущее. Двери, не знавшие замков. Кладовая, не знавшая страха. Мир, забывший, что такое ночь, в которую приходят. Он улыбнулся, и в золотом сумраке этой улыбки было больше ледяной ночи, чем в обеих лунах этого мира, вместе взятых.

Глава 2. Двенадцать родов

Эмильцы были прекрасны той красотой, которая не нуждается в оружии, — и начиналась эта красота с волос. Двенадцать родов, двенадцать цветов, двенадцать историй, сплетённых в одну, как нити в едином полотне, — и каждый цвет был не случаен, а наследовался по крови, переходил от родителей к детям уже в утробе, и младенец появлялся на свет с крошечным пушком того цвета, который будет носить всю свою долгую жизнь. Род Голубого Неба носил волосы цвета глубокой воды в полдень; род Изумрудного Сада — цвета молодого леса после дождя; Золотой Свет — цвета спелого мёда и полуденного солнца; Серебряная Роса — цвета лунного тумана по утрам; Алый Рассвет — цвета зари на восточном горизонте, когда она только начинает разгораться; Фиолетовая Ночь — цвета фиалкового неба в мгновения Дари, когда обе луны сходятся вместе; Белая Луна — цвета свежего снега на вершинах северных гор; Бирюзовая Волна — цвета моря у берега в тихую погоду; Янтарный Мёд — цвета прозрачного камня, в котором застыл свет; Розовый Туман — цвета цветущих садов в час утренней дымки, когда солнце ещё не взошло; Графитовая Гроза — почти чёрные, с отливом, как грозовое небо перед первой каплей; и Лазурный Ветер — цвета ясного летнего неба, пронзительные и чистые. Каждый род хранил своё ремесло и своё искусство: одни лечили, другие пели, третьи читали звёзды, четвёртые растили хлеб, пятые ткали свет, шестые помнили имена и события глубже всех остальных. Смешение родов было не просто разрешено, а почитаемо как высшее благословение, и потому эмилец с волосами, где синева перетекала в золото, никого не удивлял: так цвела сама их вечность, и в каждом лице, казалось, можно было прочесть всю историю его предков до седьмого колена.

И не только волосы были разноцветными — сама кожа эмильцев, как и всё на этой планете, играла красками, которых не знали другие миры. Среди них встречались сереброкожие, отливающие синевой, как лезвие Льюны в полнолуние, — их называли «лунными детьми» и считали, что они видят сны самой планеты; серокожие, как утренний туман над рекой, — молчаливые, глубокие, лучшие слушатели и хранители тайн; кирпично-красные, как обожжённая глина, — горячие, быстрые, лучшие танцоры и кузнецы; белые, как первый снег, — спокойные, медитативные, те, кто проводил часы в молчании у воды и кого считали самыми мудрыми советчиками; медные и бронзовые, как сплав рассвета, — ремесленники, чьи руки не знали усталости. И у всех — глаза с мягким внутренним светом: в темноте они загорались ровным тёплым сиянием цвета волос своего рода, так что вечерняя площадь Эмилонга казалась усыпанной живыми светляками — сотни мягких огоньков, перекликающихся друг с другом безмолвными взглядами, — и ни один чужак не мог пройти по этой площади незамеченным, потому что сотня глаз, светящихся в темноте, видела его раньше, чем он делал второй шаг. Тейвал, привыкший к тому, что на его пути глаза всегда опускались в страхе, отводились в сторону, прятались под ресницами, впервые видел глаза, которые не боялись, — и это зрелище его одновременно раздражало и, если бы он позволил себе это чувство, восхищало. Он старательно запоминал каждый оттенок кожи, каждый цвет волос, каждый светящийся в темноте взгляд: он всегда запоминал всё, что могло ему пригодиться, а эти люди, с их спокойными, не боящимися глазами, были самой полезной и самой опасной информацией, какую он собрал за шесть лет.

Восемь тысяч лет мира оставили свой след не только в обычаях, но и в самом языке эмильцев — в его корнях, в его поворотах, в тех словах, которых в нём не было. В их наречии, богатом и певучем, как вся их планета, не было слова «война». Совсем. Вообще. Были слова для бури, для грозы, для наводнения, для пожара, для вреда, наносимого неосторожностью, для случайности, для ошибки, — но не было слова для того, что люди делают друг с другом по приказу и с оружием в руках. Когда учёные рода Серебряной Росы переводили в старых архи-

вах древние тексты, им приходилось описывать это понятие целыми оборотами: «великое взаимное причинение смерти», «долгая вражда народов с оружием в руках», «время, когда люди забывают, что они люди». Не было в их языке и настоящего слова для «оружия»: ближайшее означало «инструмент, которым нельзя работать», и употреблялось оно то ли с тревогой, то ли с безразличностью, как говорят о чём-то почти неприличном, о сломанной вещи, которую давно пора выбросить. Лучшие клинки, которые умели делать мастера Эмилда, были не оружием, а инструментами резчиков по камню и дереву — тонкими, гибкими, прекрасными, но такими, которыми не зарубить человека; лучшие луки — детскими игрушками для запуска цветных оперённых стрел через реку, соревнованиями на точность и красоту полёта. Армий здесь не было и в помине: их место занимали учителя и художники, садовники и зодчие, целители и рассказчики, и если кто-то из приезжих спрашивал, кто защищает город, эмильцы отвечали с таким искренним удивлением, будто их спросили, кто защищает солнце от того, чтобы оно не упало: «Защищает? От кого? От чего? Здесь все свои».

Жизнь эмильца длилась около пятисот лет, и время здесь текло иначе, чем в мирах, где торопятся и где средняя жизнь укладывается в жалкие семьдесят-восемьдесят оборотов вокруг солнца. Первые сорок лет — детство, самое долгое и самое счастливое детство в известных мирах: неспешное, тёплое, полное игр и учения, когда ребёнок не знал, что такое спешка, и рос, как растёт дерево — по своей собственной, никуда не торопящейся природе. С сорока до ста — юность: время первых ремёсел, первых песен, первых путешествий через Золотой мост к дальним островам, первых влюблённостей, которые длились годами. Сто — триста — зрелость: годы созидания, когда эмилец строил дом, растил сад, учил детей и внуков, вкушал плоды долгого, терпеливого труда, и каждый год этого труда приносил не усталость, а удовлетворение. После трёхсот лет наступала «вторая весна» — время мудрости, когда человек становился советником, рассказчиком, хранителем памяти рода, и голос его, мягкий и медленный, пользовался таким же почтением, как цвет самого древнего дерева на площади. А потом — «долгий покой», достойный и тихий, окружённый любовью стольких поколений, что никто не боялся его: эмильцы говорили, что смерть для них — просто последний рассвет, после которого мир продолжает цвести, и они успели сделать его цветущим. Потому-то эмильцы и сажали деревья, плодов которых никогда не увидят сами, — нет, это была неправда, они-то как раз успевали увидеть и деревья, и их плоды, и правнуков, и праправнуков, и потому относились к будущему, как к собственному дому, который строят для себя и для всех, кто придёт следом.

Всё в этой культуре было учением, и всё — искусством, и разделения между ними не существовало в принципе. Любой взрослый эмилец, кем бы он ни был — пекарем, лекарем, зодчим, садовником, — считал себя в первую очередь учителем: дети запросто подходили к незнакомым мастерам на улицах с вопросами, и им никогда не отказывали, потому что отказать ребёнку в знании считалось позором, обесценивающим дар, который у тебя есть. На «Помосте Памяти» — великой площади перед дворцом, выложенной светящимся камнем, — каждый вечер собирались рассказчики всех двенадцати родов, и сотни горожан сидели вокруг, слушая истории, которым было по три, по семь, по пять тысяч лет, и всякий раз находили в них новое, потому что хорошая история, как и хорошее семя, всходила заново в каждом поколении, давая другие плоды. Письменность эмильцев была певучей — знаки, похожие на змейки волн, на струи ветра, на лепестки, — и велась на тонких листьях из речной травы, которые не гнили столетиями, а только желтели и становились твёрже, как пергамент. Библиотеки Эмиллона были бездонны, и смотрительницы их ходили между полок босиком, потому что шум шагов, говорили они, мешает старым книгам спать, и каждый свиток здесь знали не только по названию, но и по запаху, по шороху, по той особой теплоте, которую излучает древняя мудрость.

Но глубже всего в душе эмильца лежала одна-единственная вера, которую они пронесли сквозь восемь тысяч лет, не пошатнувшись ни разу: добро, сделанное миру, к тебе же и вернётся, а вред — к тому, кто его причинил, подобно тому как камень, брошенный в воду, непре-

менно возвращается волной к берегу, и чем тяжелее камень — тем сильнее волна. Оттого закон их был не наказанием, а восстановлением: если кто-то по неосторожности разбивал чужие кувшины, он не терпел кары, не сидел в темнице (темниц в Эмилоне тоже не было, конечно), а целый год помогал мастеру — и все считали это справедливым и даже прекрасным, потому что наказание порождает обиду, а восстановление — благодарность. Ложь у них не имела корней, потому что не имела смысла: некому было её бояться, не от кого было защищаться, а доброе имя, заработанное правдой за долгую жизнь, было самым ценным наследством, какое можно оставить внукам, — дороже золота, дороже камня, дороже песен. Они не знали жестокости, не знали предательства, не знали той ледяной пустоты, из которой поднимаются войны, — и потому, когда в их мир пришёл Тейвал, они не узнали его, как не узнают змею те, кто никогда не видел змей. Им предстояло научиться — и цена этого урока будет горькой, как полынь, но они ещё не знали, насколько горькой, потому что не знали, как измеряется горечь, когда теряешь не вещи, а людей.

Существовало у эмильцев и то, что можно было бы назвать праздниками, если бы у них было слово для отдельного, вырванного из общего течения дня, — но они не отделяли праздник от будней, а просто жили в постоянном, ровном, негромком торжестве бытия. Самым важным из этих «непраздников» был День Встречи Рек — раз в год, когда вода в Уль поднималась от таяния снегов в северных горах и два рукава реки, обнимавших дворец, сливались в один широкий поток, затопляя нижние террасы. В этот день весь город выходил к воде: дети пускали по реке тысячи бумажных корабликов с зажжёнными свечами внутри, влюблённые обменивались венками из речных лилий, старики сидели на верхних террасах и вспоминали, сколько таких разливов они видели за свою жизнь — триста, четыреста, почти пятьсот, — и каждый разлив казался им первым, потому что вода каждый год пахла по-разному. В этот день не работали, не учились, не чинили — только смотрели на воду, слушали её шум и думали о том, как хорошо быть частью мира, который длится так долго и так красиво. Тейвал, узнавший об этом празднике от хозяйки дома, записал в своём журнале короткую заметку: «Раз в год вся планета выходит к реке и смотрит на воду. Никто не сторожит город. Идеальный момент для удара — если бы мне было нужно брать город. Но мне нужно только то, что под землёй, а под землёй не смотрят на воду». Он усмехнулся этой мысли и закрыл журнал. Праздник рек должен был наступить через две недели после его ультиматума — но он знал, что к тому времени либо Эмилон уже сдастся, либо праздника в этом году не будет вовсе, потому что праздники и войны не уживаются в одном мире.

Глава 3. Гость

Тейвал не любил рассказывать о Заран — и тем не менее за шесть лет странствий рассказал эту историю столько раз, что она отполировалась в его памяти, как камень в воде, став короткой, гладкой и безжалостно точной, как лезвие ножа, которым он резал хлеб. Он рассказывал её пьяным капитанам в обмен на горячее, старым астрографам в обмен на карты, слепым жрецам в обмен на благословения, которых он не искал, но брал, потому что любая мелочь могла пригодиться, — и каждый раз он начинал одинаково, одними и теми же словами, как заклинание: «Мой мир был торговым. Мы делали лучшие корабли на Окраине, и нас любили за это, потому что наши корабли не тонули и не горели. Потом двум империям стало тесно в одной части галактики, и они выбрали наш мир, чтобы решить, кто из них сильнее. Они решили это за один день — и оставили после себя оплавленный камень». Он не говорил, что видел, как плавится стена родного дома, а из окна вываливается то, что было его детской кроватью, и как от неё остался только чёрный остов. Не говорил, как искал сестру в пепле и нашёл только медальон, расплюснутый в тонкую ледяную пластинку, на которой ничего нельзя было разобрать. Не говорил, что с тех пор не может спать при открытых глазах и что каждая ночь на чужой кровати снится ему одинаково, как заезженная пластинка: огонь, падающий с неба, и голоса, которые зовут его по имени, а он не успевает, не может, не добегает. Он говорил только то, что нужно было слушателям, — и слушатели давали ему то, что было нужно ему: карты, горячее, сведения, ключи от закрытых дверей.

Наёмником он стал задолго до того, как это слово приобрело для него хоть какой-то смысл, — точнее, Заран и закончил его детство, а сразу после началось его ремесло, и между ними не было ни дня передышки. Восемнадцать лет он провёл на безымянных войнах Пыльной Окраины — цепочки мёртвых и полуживых миров, где закон сменялся беззаконием каждый раз, когда заходило солнце, — и за эти годы он сменил десяток отрядов, сотню командиров и ни одного друга. Он воевал за тех, кто платил, убивал тех, на кого указывали, и учился единственной науке, в которой в итоге преуспел, — науке выживания. Он научился спать вполглаза, есть стоя, пить мало и редко, читать по отблескам на стенах, сколько врагов за углом, по дыханию — устал ли противник, по глазам — готов ли он убить. Он научился отличать настоящую броню от красивой, пригодную для дела ложь от болтовни, преданность от страха. Он научился не привязываться: к товарищам, которые погибали на его глазах, к нанимателям, которые предавали его при первой возможности, к мирам, над которыми он пролетал и которые оставлял догорать. Он видел, как горят города, которые он сам поджигал по приказу, и не чувствовал ничего, кроме усталости и, что хуже, странного профессионального удовлетворения: всё было сделано чисто, точно, быстро, без лишних жертв. К тридцати годам он был уже не юношей с обгоревшим медальоном в кармане, а ледяным оружием, у которого не было ни родины, ни флага, ни чувств — одни навыки, отточенные до блеска. И вот однажды, на базаре мёртвого порта, где продавали всё, кроме надежды, среди ржавых запчастей и контрабандных карт, он услышал шепоток, который определил все его следующие шесть лет: «Слышал? Существует Сердце Созидания. Говорят, оно может вернуть мёртвых».

Шепоток повторился — в разных устах, в разных доках, в разных системах, на разных языках, — и каждый раз обрастал деталями, как снежный ком обрастает снегом, катясь с горы. Сердце Созидания — дар Древних, спрятанный после их ухода, лежит под дворцом хранителя на золотой планете Эмилд, которую не касались войны восемь тысяч лет, потому что она всегда была под защитой — не оружия, а самой своей беззащитности, самой своей доброты, которую даже враги не решались осквернить. Оно умеет возвращать то, что ушло: тела, города, целые миры — если просящий знает, как его разбудить, и если сердце просящего достаточно чисто,

чтобы сила не сожгла его изнутри. Тейвал не верил половине этих слов — особенно насчёт чистого сердца, — но верил в одну простую истину, которую вынес из всех своих боёв: даже если Сердце вернёт только тысячную часть того, что обещает, это всё равно будет больше, чем было у него за все последние годы. Он оставил Пыльную Окраину без сожаления — жалеть было не о чем, не о ком, — и начал охоту. Он шёл по следу, как охотник идёт по следу зверя: терпеливо, безошибочно, не оглядываясь, не сворачивая, не позволяя себе ни минуты отдыха, который не был бы продиктован необходимостью. И вот след привёл его сюда — на золотую орбиту, к золотому миру, к золотой двери, за которой спало его будущее, и он стоял на пороге, сжимая в руках всё, что у него было: урну, нож и надежду, в которую сам не верил.

Корабль сел на равнине в полусотне километров от Эмилон, там, где мягкие зелёные холмы сбегали к реке Уль, и Тейвал вышел на пшенично-золотую траву, шурясь от непривычно тёплого, неагрессивного света — света, который не обжигал, не обещал боли, не напоминал о том, что он чужой. Первое, что он почувствовал, был запах: воздух здесь пах цветами, печёным хлебом и мёдом, и — он поморщился, хотя и не подал виду, — миром. Абсолютным, чистым, восьмистысячелетним миром, в котором не было ни гари, ни пота, ни металла. Он оставил «Пепел» под маскировочным пологом — за шесть лет он научился прятать корабль так, что его не находили даже с орбиты, — и пошёл к городу пешком, как странник, идущий от горизонта, с котомкой за плечами, в которой лежали только нож, урна и горсть обменных камней. На третий день пути его заметила деревенская старуха, продававшая у обочины пироги с речной рыбой. Она не испугалась его, не спросила, откуда он и кто он, не потребовала платы, — она просто посмотрела на его рваную одежду и глубокие шрамы, покачала головой, как качают над больным ребёнком, и протянула ему пирог, тёплый ещё, в промасленной бумаге, со словами: «Ты, верно, очень далеко ехал, бедняжка. Ешь, а то жена моя — вон, из окна выглядывает, — увидела, что ты за холмом стоишь, и велела позвать тебя на ночлег». Тейвал взял пирог. Он не помнил, когда последний раз ел то, что ему дали просто так, без торга, без обязательств, без того, чтобы за этим последовал нож в спину.

В Эмилон его впустили так, как не впускают ни в один город его памяти, — не спросив имени, не спросив, откуда он, не потребовав ни платы, ни залога, ни даже простого обещания не причинять вреда. Ворота города были открыты настежь, круглые сутки, и стражников при них не было вовсе, потому что стражники были не нужны; на вопрос Тейвала, что мешает войти в город любому, прохожий эмилец с волосами цвета бирюзы удивлённо переспросил: «А зачем кому-то входить в город, если он не хочет в нём жить? А если хочет — пусть входит, дом найдётся». И дом нашёлся, и не в переносном смысле, а в самом прямом. В первый же вечер его приютила семья пекаря из рода Золотого Света — тёплая, шумная, многодетная семья, где никто никого не боялся и где чужака накормили ужином раньше, чем спросили его имя. Ему дали комнату с окном на реку — чистую, светлую, с белыми стенами, излучавшими ровное тепло, — и ключ; вот тут Тейвал впервые за много лет едва не растерялся, потому что ключ был не от двери (дверь не запиралась), а от сундука, в котором ему оставили «на первое время» свежую одежду и мешочек с обменными камнями. «Если захочешь остаться, — сказала хозяйка, ставя перед ним кружку с травяным чаем, от которого пахло мятой и чем-то далёким, детским, — оставайся. Работы хватит, а сын у нас недавно женился, комната пустая. Будешь нам как свой». Он поблагодарил — и впервые за долгие годы поблагодарил искренне, потому что растерялся, а растерянность он привык маскировать вежливостью, под которой, впрочем, в этот раз что-то дрогнуло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.